

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
« ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА »
МОСКВА 1939



*Други мои, искренние мои!
Пишите, подайте голос за эту
бедную, грязную чернь! За
этого поруганного, бессловес-
ного смерда!*

☆

*О, край мой милый! Моя
судьбина!*

Шевченко.

Дед мой — старый николаевский солдат — любил поговорить о Тарасе Шевченко.

— Было это в давние времена, — говорил дед, — когда служил я, хлопчик, в Оренбургском крае...

Эти давние времена казались мне похожими на рисунки в старых, побуревших журналах. Они были тусклыми, выгоревшими, от них тянуло горькой плесенью.

— Было это в давние времена, — повторял дед и тщетно старался выбить трясущимися руками искру из кремня, чтобы выкурить трубку, — еще при царе Николае. Стояла наша рота в Гурьеве, на реке Урале. Кругом, куда ни кинь глазом, степь да степь, одна соленая земля, одна пустынная местность. И от великой сухости пропадали в той местности солдаты.

Я смотрел на деда и удивлялся — как это у него за столько лет жизни не сошли с лица ожоги от каспийского солнца. Щеки у деда были черные, шея жилистая, привыкшая к красному солдатскому воротнику, и только в глазах поблескивала голубоватая вода — спутник дряхлости; признак недалекой смерти.

— И прогоняли в то время через Гурьев, — неторопливо говорил дед, — известного впоследствии человека, бывшего крипака Шевченко. Забрал его царь в солдаты за мужицкие песни. Гнали его, хлопчик, на Мангышлак, в самое киргизское пекло, где тухлая вода и нет ни травы, ни лозы, никакого, даже ледащего дерева. Рассказывали старослуживые солдаты, что подобрал рядовой Шевченко у нас в Гурьеве сухой прут из вербы, увез на Мангышлак, а там посадил и поливал его три года, пока не выросло из того прута шумливое дерево. В наше время солдата гоняли сквозь строй, били беспощадно мокрыми прутьями из вербы. Называлось это занятие у командиров «зеленая улица». Один такой прут и подобрал Шевченко. В память забитого тем прутом солдата он его посадил, и выросло на крови солдатской да на его обидных слезах веселое дерево в бедняцкой закаспийской земле. И по нынешний день шумит оно листьями на Мангышлаке, рассказывает про солдатскую долю. Да некому его слушать, хлопчик. Шевченко давно лежит в высокой могиле по-над Днепром, а слышно тот разговор только пескам да сусликам, да пыльному ветру. Дует он там день и ночь с бухарской стороны. День и ночь порошит глаза, сушит горло, тоску прибавляет. А теперь, по прошествии многих времен, может на том месте, где сажал Шевченко вербу, уже вырос сад и какая-нибудь птица сидит в том саду и свирестит в тени, в холодке, про свои птичьи небольшие дела.

Я мог слушать деда весь день. В коноплянике жужжали зеленые мухи. Горох на горячем плетне рассыхался, трещал, и струилась, шумела за плетнем по камням быстрая река Рось.

Я знал от деда, что она несла свою воду сначала к Белой Церкви, а потом в степи, где «мрияла» голубая жара и задувал с Босфора, шевелил бурьян тепловатый черноморский ветер.

После солдатчины дед чумаковал в степях, возил из Крыма на волах перекопскую желтую соль и сушеную рыбу. С тех пор осталась у него привычка петь дребезжащим голосом заунывные, как скрип чумацких возов, запорожские песни. То были песни о сиротах, о злых мачехах, о сказочных маленьких реках, текущих из вишневых садов, о могилах и ястребах. «Засинели изда-лече старые курганы». Потом я узнал, что это были любимые песни Шевченко.

Детство мое прошло на Украине. В мазанной мелом хате пахло глиной от чистых полов. По вечерам моя тетка Феодосия Максимовна вытаскивала из каморы, из сундука растрепанный том «Кобзаря», читала его мне нараспев, замолкала на полуслове, снимала нагар со свечи и вытирала глаза чистой «хусткой». Я смотрел на нее с удивлением. Я не знал тогда, что она плакала о своей женской доле, похожей на долю шевченковской Катерины, о судьбе девушки, обманутой любимым. Иногда она водила меня в леваду, на маленькую могилу, заросшую выше пояса колосистой травой, и рассказывала, что под этой травой лежит такой же маленький хлопчик, как я, только сероглазый, и зовут его Петрусь.

Много лет спустя я узнал, что в леваде был похоронен «незаконный» сын Феодосии Максимовны — «бай-струк», как говорили по дворам злые хозяйки.

Что может быть пленительнее раннего детства, прожитого на Украине! Оно осталось в памяти, как светлая роса на синих и желтых ползучих цветах портулака, как дым соломы, застилавший осенние дни, как застенчивые грудные голоса дивчат — моих двоюродных сестер и нянек, как постоянный шум вязов над дедовским куренем.

Дед весь день сидел в курене, сторожил пасеку. Но потом оказалось, что он ничего не сторожил, а отсиживался на пасеке от дурного характера моей бабки-турчанки — женщины гневной, прокуренной до костей едким фракийским табаком. Вместе с дедом спасался в курене от бабкиного гнева и рябой пес, по имени Чертополох.

«По прошествии многих времен», летом 1931 года я, внук этого безответного деда, сошел со старого каспийского парохода на берег в Александровском форте (бывшем Новопетровском укреплении), на полуострове Мангышлак, в месте ссылки Тараса Шевченко.

Я вспомнил рассказы деда и разыскал в пустынном, пришибленном поселке несколько жалких деревьев. Тусклый свет поблескивал на их выгорающих листьях. Пыль лежала над горизонтом — пыль ссыльных пустынь, мертвых солончаковых пространств. По дворам ревели облезлые верблюды. Солнце казалось глазом слепого.

Я пошел в степь. Желтоватые грязные облака стояли на небе. При первом взгляде на них было ясно, что они стоят здесь неделями, месяцами, как бы прилипнув к этому сухому небу.

На земле очень редко, в ста шагах друг от друга, росли кусты горькой солянки. За холмом я наткнулся на казахскую могилу. Около выветренного камня стояла пиала с теплой водой. На пиале сидели, покачиваясь, маленькие птицы.

Я вспомнил взволнованные слова Шевченко в его дневнике о киргизских детях. Они приносят на могилы своих родных чашки с водой, чтобы птицы, залетающие в эти мертвые земли, не погибали от жажды.

Здесь, в этих местах, бродил постаревший поэт в пыльном солдатском мундире. Здесь, по приказу Николая первого, у него отобрали единственный карандаш, чтобы он не мог ни писать, ни рисовать. Здесь он думал о детях, жалеющих маленьких птиц, тосковал

о своей «прекрасной, бедной Украине во всей ее непо-
рочной и меланхолической красоте».

Я возвращался на пароход. Я торопился. Мне ка-
залось, что пароход может уйти раньше времени и
оставить меня на этих надрывающих сердце пустырях.
Тогда я понял все великое отчаяние Шевченко, томив-
шегося здесь семь лет в ссыльной казарме, отчаяние
народного певца, которому заткнули железным кляпом
горло.

* *
*
*

В старое время на полях Украины часто можно
было встретить пугливых мальчиков-пастухов—босоно-
гих, в холщевых рубашках и штанах, с торбами за
спиной. В торбы полагалось прятать краюху хлеба и
кусочек сала. Но в них большей частью ничего не было,
кроме черствой корки и щербатого ножа, чтобы вы-
резать из вербы свистки и свирели. Иногда в торбе
попадались сухие жуки, сломанные подковы и крем-
ни—нехитрый запас пастушьих игрушек для непонят-
ных взрослым, удивительных игр, где главным героем
было воображение.

Вот таким хлопчиком-пастушонком со старой торбой
на веревочной перевязи и был в детстве Тарас Шевченко.

Детство его ничем не отличалось от детства сотен
таких же боязливых, погруженных в свои детские раз-
думья пастушат. Детские эти раздумья были горь-
кими, как сама судьба детей, как печально было их
будущее—рекрутчина, батоги, бедность, вечный труд
и, наконец, лишний рот—постылая старость. Напрасно
девушки гадали о будущем по знаменитым «оракулам»,
напрасно видели счастливые сны. Все знали, что эти
сны редко сбываются в такой клятой стране, как нико-
лаевская Россия.

Родился Тарас в семье крепостного крестьянина Гри-
гория Шевченко в селе Морищах, Звенигородского
уезда, Киевской губернии. Родился в 1814 году, когда

русская армия утверждала могущество империи Александра на полях Европы и сумрачным крипакам-украинцам как будто остались на долю только воспоминания. И они вспоминали при свете каганцов Железняка и Гонту, уманскую резню, колиивщину — украинскую жакерию, когда их отцы поднялись на панов, вооруженные деревянными кольями. Среди этих рассказов о потерянной вольности, среди гнева на панщину и вырос Шевченко.

Семья Шевченко принадлежала помещику Энгельгардту — «напыщенному и ничтожному животному», по отзывам беспристрастных современников. Но у этого ничтожества была чугунная рука. Шевченко с ненавистью вспоминал о ней до конца жизни.

Когда Тарасу пошел девятый год, умерла его мать. Отец, переехавший в деревню Кирилловку, женился на вдове с детьми. У маленького Тараса началась сиротская жизнь, полная обид, невыплаканных слез.

Об этой жизни было сложено много песен в тогдашней сирой России. О сиротах гнусавили убогие люди на папертях сельских церквей, о сиротах пели слепцы-кобзари по ярмаркам. И пели недаром. Песни о сиротстве детей выдавали потаенные думы о сиротстве народа. Слепые певцы, может быть сами того не зная, пели грозные и мрачные песни о великой народной обиде.

Единственной утешительницей маленького Тараса была старшая сестра Катруся—его терпеливая, нежная нянька. Она уводила его, плачущего, в леваду. Она рассказывала ему сказки о том, что небо стоит над землей на высоких синих столбах. Если итти и день и два, то подойдешь к этим столбам и увидишь небо так близко, что его можно будет потрогать рукой.

Мальчик затихал, слушал, а наутро убегал в степь искать эти синие небесные столбы, сбивался с дороги, засыпал, обессиленный, в бурьяне, и его привозили домой чумаки.

Через два года после смерти матери умер отец. Тарас остался круглым сиротой.

Когда перед смертью Григорий Шевченко делил между детьми свое нищенское наследство (должно быть — черную солому, холсты и казаны), он сказал, что Тарасу не надо оставлять ничего, потому что Тарас — мальчик не такой, как все: выйдет из него или замечательный человек, или большой негодяй, — ни тому, ни другому бедняцкое наследство не понадобится.

Мачеха, чтобы избавиться от пасынка, отдала его в пастухи. Пастухом Тарас был плохим. Пасти овец и свиней ему мешало живое воображение. Мальчик часами лежал на старых могилах, разглядывал небо, рассматривал украденную у дьячка книгу с картинками или играл сам с собой в тихие игры.

Пришлось взять его из пастухов и отдать в учење к сельским дьячкам. Их было несколько, этих спившихся учителей грамоты. Они заставляли Тараса добывать им водку и читать по ночам псалтырь над покойниками.

Двенадцатилетним мальчиком Тарас уже знал всю невеселую судьбу крепостного: от рождения и до последней гробовой его свечи. Смерть казалась отдыхом. В прибранной пустой хате лежал восковой человек. Его черные заскорузлые руки впервые в жизни были бездельно сложены на груди. Ему не надо было вставать до рассвета, идти на барщину, подымать сохой неподатливую землю, думать все одну и ту же унылую думу, как прокормить жену и детей.

Потрескивала свеча. Воск капал на тонкие страницы псалтыри. Привычно вздыхали женщины, и голос Тараса бормотал неясные утешения о светлых местах, где будет покоиться рядом с умершими панами душа крипака, потому что, как учила церковь, все люди после смерти становятся братьями.

Уже с этих лет Тарас не взлюбил подневольную крестьянскую жизнь. Все попытки мачехи и брата при-

учить его к хлеборобству наталкивались на безмолвное сопротивление. Уже с этих лет Тарас мечтал о живописи. Он украл у учителя-дьячка пять копеек, купил на них бумаги, сшил тетрадь и разрисовал ее цветами и узорами.

В конце концов Тарас не выдержал ежедневных побоев дьячка и ночных бдений над покойниками, сбежал из своей деревни и начал бродить по окрестным селам, разыскивать учителя живописи.

Живописью занимались все те же пьяницы-дьячки писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в учение, но заставляли его батрачить или без конца тереть краски; другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему неспособным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приبلудного мальчика. Две недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас — беглый крипак. Маляр потребовал от Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгардта.

Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имениями Энгельгардта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса в господскую дворню...

В то время Энгельгардту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгардту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал: «Годен на комнатного живописца».

* *
*

В 1829 году в Вильно стояла снежная зима. Глубокие снега приглушали звон католических костелов. Это не была страшная зима 1812 года, — о ней виленцы вспоминали с содроганием. Город еще жил памятью о походе Наполеона, о балах Александра, прерванных к

нонадой, о сражениях и гибели на обледенелых горах около Вильно всей артиллерии Наполеона — маршал Ней приказал ее сжечь.

Здесь, в Вильно, был последний привал погибавшей многоязычной армии. Еще при Шевченко в подвалах виленских монастырей находили скелеты французских солдат.

Польша волновалась. Адам Мицкевич томился в позолоченной тюремной клетке — в литературных салонах ненавистного ему Петербурга. Молодежь зачитывалась его «Конрадом Валлендором». Медленно, но явственно приближалось польское восстание.

Но мальчик Тарас ничего не знал об этом, — гораздо позже он выучил польский язык и впервые прочел Мицкевича. Сейчас он целыми днями сидел в темноватой прихожей на конике-сундуке, где хранились принадлежности лакейского звания. Он ждал барского окрика, подавал Энгельгардту раскаленные трубки. Вместо комнатного живописца Энгельгардт сделал его комнатным казачком.

В Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В Острой Бреме в бернардинских монастырях он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками пышно и театрально. В доме Энгельгардта он рассматривал портреты героев войны двенадцатого года и суздальские образа. В Вильно мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом, на Украине и в Нижнем-Новгороде он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий — большей частью «простыми крепостными холопами».

В Вильно Шевченко испытал первую любовь. Она была неудачна, как и все его увлечения. Всю жизнь он прожил бобылем.

Об этой первой любви Шевченко мы знаем мало. Он полюбил девушку-польку. Встретил он ее в одном из

виленских костелов. Костелы всегда были местом встреч, взглядов, мимолетных и неясных знакомств.

Девушка была «вольная». Тарас был холоп. В этом одном уже заключалась безысходность его первой любви.

В палатах помещика Тарас впервые понял, как он унижен. У него появилась ясная мысль о необходимости освобождения холопов. Мысль эта росла, крепла, закалялась на протяжении жизни и сделала из безвестного мальчика великого «мужицкого поэта» и революционера.

* * *

Зимой в Вильно гремели балы. Паркетные доски дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов охлаждал ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки.

Однажды Энгельгардт уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгардта могла, наконец, отдохнуть, — бал должен был затянуться до утра.

Когда в большом гулком доме все успокоилось, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова.

Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись чахлые замерзшие французы. Конь Платова гарцовал, как будто позировал мальчику.

Шевченко увлекся. Свеча оплывала. Ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгардта. Очнувшись он от того, что крепкая рука барина схватила его за ухо и сбросила со стула. Взбешенный Энгельгардт кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей, якобы, от копеечной свечки.

— На конюшню! — кричал Энгельгардт. — Не твое холопское дело производить копии с этих портретов!

Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порку он перенес молча, но несколько дней после нее думал о самоубийстве. Через год, когда он получил от Энгельгардта новый удар, он думал уже не о самоубийстве, а об убийстве своего барина: «С ножом в господские палаты я шел, не чувствуя земли». А через несколько лет он уже звал народ тащить на плаху первого крепостника и помещика всей России — царя Николая.

Порка не испугала Тараса, — он был тих, но упрям и продолжал втихомолку срисовывать портреты. Тогда Энгельгардт сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. В то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности держать дворовых художников и время от времени засекают их досмерти.

Вблизи Москвы, в деревне Марфино — бывшем поместье князя Голицына, сохранилась около церкви могила крепостного архитектора Белозерова. Белозеров построил в Марфине церковь, но отказался, несмотря на приказ Голицына, поставить внутри церкви столбы. Столбы испортили бы легкую архитектуру. Голицын приказал засесть Белозерова, похоронить у стен построенной им церкви и выбить на могильной плите надпись о причинах его смерти в назидание непокорным холопам.

Энгельгардт вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи.

У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстаніе» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развевался трехцветный флаг

республики, стояли возбужденные, восторженные толпы варшавян.

Энгельгардт решил бежать. Остаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком.

* *
*

В Петербурге Энгельгардт отдал Шевченко в учение к «комнатному живописцу» Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение.

Шевченко, вместе с другими учениками, жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу — красить стены, расписывать потолки и вывески.

Ширяев был подрядчиком-костромичом. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Шевченко, как и все ширяевские ученики, боялся своего хозяина. Ширяев знал только один способ обучения — крепкую зуботычину.

По вечерам на чердаке у Ширяева старшие ученики рассказывали Шевченко о красотах Петербурга, о знаменитых петергофских гуляниях и фонтанах. Громадный город — туманный и прямолинейный, холодный и блистательный — первое время пугал Шевченко. Разнообразие живописных богатств, заключенных чуть ли не в каждом доме, казалось ему сказочным после лубочных картинок, которые он воровал на Украине у своих учителей-дьячков. Все это надо было рассмотреть, изучить, срисовать.

Как-то летом Шевченко сбежал с работы и пошел пешком в Петергоф. В кармане его халата было несколько медных грошей и кусок хлеба.

В Петергофе Шевченко увидел нарядные толпы петербуржцев, любовавшихся струями воды, летевшими ввысь,

к вершинам столетних деревьев, увидел Ширяева с его толстой женой, испугался и тотчас ушел обратно.

Он был так голоден и слаб, что фонтаны не произвели на него того впечатления, которого он ожидал. Кроме того, было страшно увидеть рядом с мраморными статуями и блестящими фонтанами, рядом с праздничной листвой садов тяжелое лицо самодура и кулака Ширяева.

Так жизнь шаг за шагом давала Тарасу трудные, но верные уроки. Рабство и пышные придворные праздники, тиковый халат и шелестящие наряды женщин, подрядчик, торжественно шествующий среди творений Растрелли и Воронихина, — все это возвращало мысль к обездоленности народа.

Народ, только народ имел право созерцать красоту и облагораживать себя этим созерцанием, а не Ширяевы и Энгельгардты. Надо было научиться высокому искусству живописи, чтобы отдать его народу, чтобы картины — «изящнейшие произведения человеческого духа» — висели не в дворцовых залах, а в народных галереях.

Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве, и он начал изучать его сам. По пути с работы на ширяевский чердак он заходил в Летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисаветы.

В Летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. «О первых моих литературных опытах, — говорил он впоследствии, — скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещицкой передней, на постоянных дворах и в городских квартирах. Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне». Днем рисовать было некогда. Помогали белые ночи. Их сумрак был светел.

Он не скрывал очертания статуй. Наоборот, в прозрачном блеске ночей статуи казались особенно яркими на темной листве, вычерченными более чистыми линиями, чем днем. Днем они были грубее.

Шевченко сидел около статуй и рисовал. Никто не мешал ему. Летний сад был пуст, безмолвен.

В одну из таких ночей преподаватель Академии Художеств Сошенко проходил через Летний сад и увидел мальчика, сидевшего на перевернутом малярном ведре перед статуей Сатурна. Сошенко тихо подошел. Мальчик оглянулся и что-то быстро спрятал за пазуху.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Сошенко.

— Да ничего, — ответил растерянно мальчик. — Ничего я не делаю такого... Шел с работы и зашел в сад. Сошенко молчал.

— Я рисую, — прошептал мальчик и покраснел.

— Покажи.

Мальчик показал художнику измятый набросок со статуи Сатурна. Набросок был очень хорош.

Сошенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки.

С этой встречи начался перелом в жизни Шевченко. Сошенко первый открыл в Летнем саду этот «алмаз в кожухе», как он называл впоследствии Шевченко.

В первое же воскресенье Тарас пришел к Сошенко. Художник открыл ему дверь и протянул руку. Тарас схватил ее и хотел поцеловать. Сошенко вырвал руку. Тарас испугался, бросился вон из дверей и убежал.

Сошенко был возмущен «раболепием» мальчика. Он не знал, что Тарас — крепостной. Сгоряча он не понял, что запуганный мальчик хотел поцеловать ему руку, не из раболепия, а из благодарности — так же, как поцеловал бы руку приласкавшего его отца.

Сошенко был взволнован не меньше Тараса. На следующий вечер он пошел в Летний сад, чтобы отыскать мальчика, и увидел его перед статуей Аполлона Бель-

ведерского. Сошенко забрал мальчика и повел в трактир. Мальчик был худ, бледен; было видно, что он голодает.

В трактире Тарас рассказал Сошенко свою немудрую жизнь. Сошенко был в отчаянии, — талантливый мальчик оказался крепостным. Не было никакой надежды вырвать его у помещика и сделать художником. Тарас смотрел в глаза Сошенко, но художник только махнул рукой.

Они молча вышли из трактира. Огромный и великолепный город лежал вокруг, расчерченный гениальными архитекторами. Казалось, неизмеримое горе было заключено в продуманной классической красоте петербургских зданий.

Около трактира встретился известный художник старик Венецианов. Сошенко рассказал ему о Тарасе. Венецианов долго приглядывался к украинскому юноше, потом тихо сказал Сошенко:

— Добейтесь хотя бы некоторого улучшения его участи, а потом уже будем хлопотать о свободе. Все возможно на этом свете, лишь бы было непреклонное желание.

Сошенко пошел к Ширяеву. Дело он уговаривал угрюмого подрядчика отпустить Шевченко в свободное время к нему, художнику Сошенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сошенко был настойчив, и подрядчик сдался.

С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у Сошенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом Брюлловым.

Имя Брюллова, недавно вернувшегося из Италии, было окружено шумной славой. Петербуржцы знали восторженные отзывы Вальтер Скотта о полотнах Брюллова. Рассказывали, что в Риме, когда Брюллов появлялся в театре, зрители встречали его рукоплесканиями. О Брюллове создавались легенды. Его ставили в один

ряд с Микель Анджелло и Рафаэлем. Его великолепная мастерская приводила в трепет измотанных нуждой художников и нищих учеников Академии. Пушкин восхищался Брюлловым и просил его написать портрет жены — Наташи Гончаровой.

Преклонение перед Брюлловым легко понять. Брюллов внес в русскую живопись живую нарядность и приподнятость красок. Он как бы целиком перенес в Россию, вместе со своими полотнами, со всей своей мастерской, клочок Италии. Все золотилось, смуглело, сверкало лукавством и улыбкой, театральной грацией на его холстах. Брюллову завидовал даже Кипренский.

Брюллову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его «мазню».

Брюллову понравился Тарас — «мальчик с некрепостным лицом». Он заинтересовался его судьбой и обещал Сошенко подумать о ней.

После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева. Слезы радости часто появлялись у него на глазах.

Сошенко устроил так, что Тарас начал посещать классы Академии Художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак.

Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту Виельгорскому. Сообща было решено добиться освобождения Тараса.

Брюллов поехал к Энгельгардту. Он вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни, — сказал он Сошенко. —

Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит».

Так начался страшный торг с Энгельгардтом за свободу Шевченко.

Сошенко сам не решился пойти к Энгельгардту. Он попросил об этом Венецианова. Сошенко думал, что Энгельгардт постыдится затеять торговлю с простодушным стариком, пользовавшимся всеобщей известностью и уважением. Венецианов охотно согласился идти к помещику, — всю жизнь он помогал людям, «впадавшим в крайность». Он считал это таким же естественным для себя делом, как и рисование картин.

Энгельгардт заставил старика Венецианова больше часа дожидаться в передней, среди челяди и лакеев. Принял он Венецианова грубо, надменно. Он не захотел слушать разговоров о талантливости Шевченко и необходимости свободы для его дальнейшего развития.

— Все это — вздор! — сказал он Венецианову. — Все это — филантропия! Не в том, батенька, дело.

Тогда Венецианов, краснея за собеседника, спросил, во сколько Энгельгардт оценивает свободу Шевченко.

— Наконец-то я слышу достойные слова! — воскликнул Энгельгардт и начал уклончивый разговор о том, что Шевченко ему надобен, потому что он, Энгельгардт, заказывает ему портреты знакомых и даже платит крепостному художнику за каждый портрет рубль серебром. Торг длился долго. Энгельгардт в конце концов назначил за Шевченко выкуп в две тысячи пятьсот рублей и не захотел уступить ни копейки.

Сумма была огромна. Она делала освобождение Шевченко почти невозможным. Венецианов пришел к Сошенко обескураженный и сердитый.

Снова совещались Брюллов, Сошенко, Венецианов и Жуковский и решили деньги эти достать во что бы то ни стало.

Шевченко страшно волновался. Он задумал убить Энгельгардта. Чтобы успокоить его, Сошенко добился

у Ширяева отпуска для Тараса на один месяц. Но Ширяев был не такой человек, чтобы согласиться даром,— Сошенко должен был за это бесплатно написать портрет Ширяева.

Отпуск не помог Шевченко. Он знал, что нигде двух с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Мысль об убийстве Энгельгардта он оставил: вместо свободы это принесло бы еще худшую неволю — каторгу, Сибирь.

Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как ледяное железо входило в сердце отчаяние. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой.

Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю стужу. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве чернел и трещал. С залива дули мокрые ветры.

Шевченко смотрел за окна больницы,— никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины не могло пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные как казарма, стояли над промозглым Петербургом. Шевченко чудилось, что худой николаевский солдат заглядывает на него в окна, не спускает с больного бескровных глаз, моргает белыми ресницами. Но за окнами никого не было,— там шел реденький снег.

Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева,— по реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев — тихий, смущенный, совсем непохожий на прежнего матерого хозяина.

Он помял в руке черный картуз, сел и сказал:

— Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя господа художники. Теперь ты человек вольный.

Шевченко отвернулся, и губы у него задрожали. Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался — и ушел.

Вскоре пришел Сошенко. Шевченко сел на койке и спросил:

— Это правда?

— О чем ты говоришь, Тарас? — спросил Сошенко.

— Это правда, что вы... что я... — сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово — невероятное слово «свободен».

Сошенко догадался.

— Правда, Тарас, — сказал Сошенко.

Шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал. Сошенко вынул из кармана «вольную» и отдал ее Шевченко. Тот прочел ее несколько раз, поцеловал и спрятал под подушку.

Было это 22 апреля 1838 года.

Болезнь Тараса заставила его друзей торопиться с поисками денег. Жуковский и Брюллов придумали выход. Брюллов написал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею. Лотерея дала две с половиной тысячи рублей. Деньги тотчас отвезли Энгельгардту и получили от него «вольную» на «ревизскую душу крестьянина Тараса Григорьевича Шевченко».

Освобождение Шевченко почти совпало со смертью Пушкина. Пушкин умер только за год до этого. Только год назад Тарас робко вошел, вместе с притихшей толпой, в небогатую квартиру поэта. Пушкин лежал в гробу, в прихожей. Витые розовые свечи горели около изголовья. В квартире был беспорядок, сопутствующий смерти.

Великий поэт напомнил Тарасу его родных крипаков, по которым он читал псалтырь, — так же было измучено его лицо, так же, должно быть — впервые в жизни, были спокойно сложены на груди его сухие маленькие руки.

Тарас принес с собою лист бумаги и огрызок карандаша. Он спрятался в угол и начал срисовывать

безжизненную голову поэта. Он смущался, вздрагивал, когда кто-нибудь задевал его полую тяжелой шубы.

Тогда уже Пушкин вошел в жизнь Тараса как недостижимый друг, как величайший учитель поэзии.

* *
*

Весна, наконец, победила холодную слякоть. По Неве прошел синий ладожский лед. Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад, в тихую воду залива. Золотые шпильки сверкали над шумным, оживающим городом. Шевченко был свободен.

От радости он даже не мог рисовать. Он бродил по городу светлый, улыбающийся, часто вынимал из кармана «вольную» и перечитывал ее при свете северной ночи. Потом долго стоял задумавшись, глядел, как над островами зеленеет далекая заря. Она казалась ему зарей его новой, удивительной жизни.

Тарас поселился у Сошенко и начал работать в Академии Художеств под руководством Брюллова. С грязного чердака он перешагнул в мастерскую великого художника, где, как в лавке антиквара, были собраны превосходные вещи. Каждая из них была достойна рассказов, споров и размышлений.

В этой мастерской Тарас впервые понял прелесть бесед, переливающихся острой мыслью, шуткой, веским замечанием. Здесь вспоминали о Пушкине, как о недавнем госте этой мастерской. Здесь во время работы читали вслух научные трактаты, говорили о Риме, качестве красок, рассказах Гоголя, Рембрандте и античности, музыке Гайдна и декабристах.

Брюллов открыл Шевченко свою богатую библиотеку. Шевченко впитывал содержание книг, как земля впитывает внезапный ливень. Он узнал о Гете, Шиллере, старике Гомере и Вальтер Скотте. Он изучал историю средних веков и Греции, французский язык, прошел курс зоологии, физики и анатомии.

Но особенно охотно Шевченко искал и прочитывал книги по истории Украины. Он не забыл ее в тревогах и радостях последних лет. Он всегда носил в сердце память о родных крипаках, лирниках, курганах, шумящих седую травой.

Брюллов тоже любил Украину. Тарас подолгу рассказывал ему о защитнике сельской бедноты — Кармелюке, песнях и праздниках, о мягком работающем народе, загнанном Екатериной в крепостное ярмо.

Иногда Брюллов брал Шевченко с собой в Эрмитаж или на загородные прогулки. Однажды они ездили на пароходе в Петергоф. Теперь Шевченко не был голоден. Петергоф предстал перед ним совершенно иным, чем в первый раз. Он понял прелесть этих садов, где в глубине аллей шумят балтийские волны, где морской ветер покрывает рябью пруды и из мраморных изваяний льются по ступеням, покрытым илом и бронзой, прозрачные водопады.

Эти прогулки были праздниками для Шевченко. Брюллов читал ученикам лекции о том, как живописать воду, небо, деревья и травы. Шевченко все больше привязывался к своему учителю. Почтительное, почти благоговейное отношение к Брюллову он сохранил надолго. Шевченко был тверд в привязанностях. Он прощал Брюллову все. Когда он узнал много лет спустя о скупости Брюллова, то старался внушить себе, что эта черта является только «случайной гримасой гения».



Годы учения в Академии Художеств были самым легким временем в жизни Шевченко.

Он поселился в мансарде с товарищами по Академии: Михайловым и Штернбергом. Дни проходили в посещении академических классов, в работе и чтении. Шевченко любил слушать чтение во время работы и сам любил читать вслух товарищам.

Постепенно завязывались знакомства с передовыми людьми своего времени и с украинцами, жившими в Петербурге, — писателем Гребенкой, знаменитым математиком Остроградским.

Впервые Тарас начал слушать музыку Бетховена, Гайдна, Моцарта. Музыка он любил. Она всегда напоминала ему об Украине. Из тончайших и разнообразных мелодий возникал образ певучей страны. Шевченко тосковал по ней. Припадки этой тоски приобретали характер болезни, и в эти минуты Шевченко писал на клочках бумаги первые свои украинские стихи. Поэзия уже боролась в нем с увлечением живописью. Поэзия уже стала его «странным, неугомонным призванием». Тогда же он написал свои знаменитые «Думы»:

Думы мои, думы мои,
Цветы мои, дети,
Я растил вас, я берег вас,
Где ваш кров на свете?
В край родной идите, дети,
К нам на Украину —
Под плетнями, сиротами,
А я здесь погину.
Сердце друга там найдете,
Оно не лукаво,
Чистую найдете правду,
Может быть, и славу.
Привечай же, мать-отчизна,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына.

Жизнь шла легко, несмотря на отсутствие денег. Когда перепадал лишний рубль, приятели бежали в трактир «Рим» на Васильевском острове и заказывали жирные бифштексы. Однажды они украли живого гуся у смотрителя Академии. Гуся сварили в самоваре и съели, а крылья его подарили художнику Петровскому. Петровский писал конкурсную картину «Агарь в пустыне». Ему нужны были крылья какой-нибудь большой птицы

как образец для крыльев ангела, утешающего Агарь. За свою «Агарь» Петровский получил заграничную командировку. Шевченко со смехом рассказывал всем, как гусиные крылья создали счастье художника.

В своих живописных работах Шевченко начал постепенно уходить от академичности и ложноклассической трактовки образов — к ясному и простому реализму. Характерно, что один из академических этюдов Шевченко изображает нищего мальчика, который делится милостыней с бродячей собакой. Это была дань своему детству.

Шевченко получил от Академии две серебряные медали за свои работы, но работы эти его уже не радовали. Он увлекся акварельным портретом. В этой области учителем Шевченко был портретист Соколов. Тарасу нравились его просвечивающие краски, изящество рисунка.

Портреты работы Шевченко вскоре стали славиться в Петербурге. Посыпались заказы. Нужда окончилась. Шевченко стал кормильцем целой ватаги молодых художников-украинцев. Он начал хорошо одеваться, бывать в театрах. Это вызвало жестокие упреки его наставника Сошенко. Он негодовал на «безалаберную жизнь» Тараса. «Мы — плебеи, — говорил Сошенко, — и вести легкомысленную жизнь нам с тобой не пристало».

Ничего странного в этом не было. Шевченко был в те годы еще настоящим ребенком. Купленный им непромокаемый плащ казался ему чем-то необыкновенным. Он гордился им и с восторгом показывал знакомым. Его, бывшего пастуха, помнившего дырявые, насквозь промокшие свитки, радовало, что вот хитрые люди — англичане — придумали материю, которая и в дождь остается сухой. Недолгое увлечение Шевченко внешней стороной петербургской жизни было естественным у юноши, только что вырвавшегося из нищеты.

Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной начатыми холстами, Шевченко до слез грустил

по Украине, и все его думы, вся страсть, вся любовь были далеко от Петербурга, были со своим обездоленным народом. Оставаясь один в своей каморке, Тарас писал стихи о родине. Над нею «орел черный сторожем летает, кобзари о ней народу песни распевают». О стихах этих никто не знал и, может быть, о них долго бы не узнали, если бы не случай. Произошел он в конце 1839 года.

Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартоса. Мартос приходил позировать Шевченко. Однажды Мартос заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его — и прочел украинские стихи поразившие Мартоса ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок из «Тарасовой ночи».

— Что это? — спросил Мартос. — Чьи это стихи?

— Мои, — неохотно ответил Шевченко. — Так... баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов.

Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными крупным неправильным почерком.

— Вот все мое добро, — сказал он. — Тут сам черт вывихнет лапу.

Мартос начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что Мартос не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел.

Но пошел он не домой, а к украинскому писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. Они были потрясены. Они первые узнали о существовании большого народного поэта, чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных, что даже не верилось, что они написаны одним человеком, а не созданы всем народом в течение многих лет на шляхах, ярмарках, на полях Украины.

Молчат горы, стонет море,
Могилы в тумане,
Стонут дети казацкие
Во вражеском стане.

На следующий день Мартос снова пришел к Тарасу позировать для портрета. Тарас молчал. Молчал и Мартос. Он ждал, когда Тарас спросит его о стихах. Но Тарас был угрюм, работал с ожесточением и не говорил ни слова. Наконец, Мартос не выдержал.

— Прочел я ваши стихи, Тарас Григорьевич,—сказал он Шевченко.

Шевченко молчал.

— Великолепные стихи! Их надо тотчас напечатать. Шевченко испугался.

— Что вы! — заговорил он быстро и недовольно: — Какие же это стихи! Засмеют меня за эти стихи, а то, пожалуй, и побьют поэты.

С большим трудом Мартосу удалось добиться от Шевченко разрешения напечатать стихи отдельной книгой. Она была названа «Кобзарь» и вышла в свет в феврале 1840 года. Вскоре вышли отдельными книгами и две великолепные поэмы Шевченко «Катерина» и «Гайдамаки».

Петербург заговорил о новом «мужицком» поэте. На Украине появление «Кобзаря» произвело впечатление потрясающее. Его выучивали наизусть, над ним плакали, его хранили в сундуках, как редчайшую драгоценность. Чудесным казалось, что из северного Петербурга раздался свободный голос бывшего раба-украинца и голос этот прозвучал по всей стране, как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства.

Тогда Тарас еще не знал, что «своими стихами он сам себе кует кандалы». Узнал он об этом через несколько лет, в Петропавловской крепости. Со времени выхода «Кобзаря» Третье отделение уже тайно следило за поэтом.

Летом 1843 года сбылась, наконец, мечта Тараса. Он вернулся к себе на Украину прославленным поэтом и художником.

Поездка была связана с печатанием большого художественного альбома «Живописная Украина». В альбом должны были входить зарисовки украинских пейзажей, старых городов, быта, картины из истории Украины, написанные и выгравированные самим Шевченко. Текст к гравюрам должны были писать известный историк Бодянский и украинский писатель Кулиш.

Украина встретила Тараса ласково, но вскоре же нанесла удар его юношеским представлениям о родине. Все украинцы были на отдалении одинаково милы Шевченко, как была мила сама Украина. Шевченко думал, что ее единственное несчастье заключалось в порабощении царским самодержавием. Стоило сбросить гнет царской России — и тотчас возродятся былая вольность и слава, мирный труд расцветет на черноземных полях, и песни польются от края до края степей.

На Украине Шевченко был желанным гостем — и в хатах крипаков, и в усадьбах помещиков-украинцев. Но как только Тарас переступил порог первого же помещичьего дома, он понял, что он крепостной, хотя и носит в кармане «вольную». Его принимали охотно, но давали временами больно почувствовать, что он — бывший холоп и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянством. Шевченко не мог смотреть в глаза казачкам, подававшим трубки, дворне, снимавшей шапки перед ним, знатным столичным человеком.

Он был костью от кости этих холопов, он был поэтом бедняцкой Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того, кто они были — украинцы, поляки или русские, — вошла с тех пор в его сердце и крепла с каждым годом.

Он резко порвал знакомство с помещиками. В ответ на это один из помещиков, Лукашевич, прислал ему

письмо. «Таких мужиков и олухов, как ты,— писал Лукашевич Шевченко,— у меня триста душ».

Однажды Шевченко гостил у полтавского помещика, «стихоплета» Родзянко, дружившего одно время даже с Пушкиным. Несмотря на кажущуюся дружбу с Пушкиным, Родзянко написал на него донос в стихах в то время, когда Пушкин был уже в ссылке. Пушкин, предупрежденный друзьями, не мог поверить этому. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости»,— писал Пушкин. Он думал, что на это неспособен даже Родзянко.

В доме Родзянко Шевченко увидел, как дворецкий ударил по лицу дворового мальчика. Шевченко ночью ушел из дома Родзянко, уехал в Миргород и больше с Родзянко не встречался.

Была одна только помещичья семья, с которой Шевченко мирился,— просвещенная и гуманная семья князя Репнина.

Дочь Репнина, Варвара,— экзальтированная, порывистая женщина,— полюбила Шевченко. Варвара была воспитана в отвращении к крепостному праву. Ее преклонение перед Шевченко — бывшим крипаком, теперешним разночинцем и талантливым поэтом — было безгранично. Она довела это преклонение до смешного. Каждая выпитая Шевченко рюмка водки, каждая вольная шутка казались ей недостойными гения и заставляли искренне и долго страдать. О своей любви она не сказала Шевченко ни слова. Это была безмолвная, но самоотверженная любовь.

Когда Шевченко был в ссылке, Варвара Репнина настойчиво хлопотала об его освобождении. Она прекратила хлопоты только после грубой угрозы со стороны Третьего отделения подвергнуть преследованию за это всю ее семью.

От идиллических мечтаний о патриархальной Украине Шевченко резко перешел к мыслям об освобождении народа от власти царя и панов. Он понял, что един-

ственный путь к этому — восстание. Он знал, что его слова о судьбе украинских помещиков, о том, что «кровь их детей польется в далекое море согнею рек», станут словами пророческими.

Вы, разбойники и воры,
Жадная орава!
По какому вы людскому
Божескому праву
И землей, от века общей,
И людьми живыми
Торгуете? Берегитесь,
Встретитесь вы с ними!
Он настанет, день веселый,
Вас настигнет кара,
Пламя новое повеет
С Холодного Яра!

Второй раз Шевченко приехал на Украину из Петербурга после окончания Академии Художеств — весной 1844 года.

Весна стояла дружная, туманная. Разливы рек задерживали Шевченко в пути. Есть нечто величавое в разливах русских рек. Они наполняют воздух самых убогих уголков земли блеском воды, отражающей весеннее небо. Блеском, похожим на блеск мелких морей, что вплотную подступили к порогам курных изб, к голым березовым рощам. Шевченко не досадовал на задержку в пути.

Он поселился в Киеве, сразу же был окружен украинской молодежью, но жил он в Киеве мало. Он исколесил всю Украину. Шевченко начал работать в археологической комиссии и по ее поручению зарисовывал памятники старины, сохранившиеся на Украине. Это дало ему прекрасное знание страны.

Он был в Подолии, на Волыни и в Полтавщине, во многих местах около Киева, в Чернигове, Нежине и Чигирине. Он напряженно работал как художник, но еще больше как поэт. В это время им была написана поэма об Яне Гусе и много стихотворений.

Однажды во время этих скитаний Шевченко попал на ярмарку в город Ромны. Здесь он увидел гоголевскую Украину.

Над Ромнами стояла непроницаемая мелкая пыль. На ярмарку пригнали громадные табуны лошадей и съехались со всей России кавалерийские ремонтеры покупать лошадей для армии. Лошадей гоняли на корде перед покупателями. Неистово кричали цыгане. Лудильщики били в медные тазы.

В ярмарочном балагане выступал знаменитый украинский актер Соленик. Это был выдающийся актер, равный Щепкину, но рано умерший. Шевченко считал его актером большего мастерства, чем Щепкин. Со Щепкиным к тому времени Шевченко познакомился и сдружился.

Выступление Соленика перед ярмарочным сбродом Шевченко воспринял, как унижение театрального искусства.

В тот же вечер на ярмарке выступал хор московских цыган. Они разухабисто пели «Горные вершины»:

Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Погоди немного,—
Отдохнешь и ты.

Пьяные ремонтеры ревели от восторга и швыряли в цыганок измятыми кредитками. Шевченко ушел взбешенный.

«Думал ли великий германский поэт,— писал об этом Шевченко,— а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия».

Во время скитаний по Украине Шевченко много времени проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах собирались родные его «гречкосеи» и горько, безнадежно жаловались на угнетения, на обиды,

на жестокости панов и шляхтичей. Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину, «гречкосеи» были только «быдлом» — рабочим скотом. Гнев охватывал Шевченко — великий, беспощадный гнев поэта, трибуна, революционера. Этот гнев сообщил его стихам характер неистовых проклятий.

Да, он клял этот барский «смердящий» мир, клял царя, всех предателей и насильников.

А слез! А крови! Напоить
Всех императоров бы стало.
Князей великих утопить
В слезах вдовиц! А слез девичьих,
Ночных и тайных слез привычных,
А материнских горьких слез,
А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось!
Пылающее море... Слава
Борзым, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям.

Шевченко был «вольный». Его вольное слово звучало по всей Украине, его стихи читали шопотом, но этот шопот гремел в сердцах как набатный колокол, от него закипали слезы в глазах и холодели руки.

— Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крипаки. — Вот ты вышел в люди, — дай совет, открой сирым и подневольным очи, научи, как добиться до правды.

Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян. Он писал об этом. Его «археологические прогулки» по Украине превращались в страстные агитационные поездки. Всюду, где был Тарас, усиливался крестьянский гнев, разгоралось возмущение. Он подымал в сознании крипаков задавленные рабством пласты человеческого достоинства и негодования.

В это время в Киеве вокруг историка Костомарова собрался кружок либеральной украинской молодежи. Молодежь эта была враждебна крепостному праву и

считала, что оно может быть уничтожено при помощи «раскаявшихся» помещиков. Надлежало только вдохновить на освобождение крестьян лучших из помещиков и сделать это, воздействуя на них наукой и поэзией.

Постепенно кружок вокруг Костомарова рос и превратился, наконец, в тайное общество, названное Кирилло-Мефодиевским братством. Члены братства мечтали о политическом объединении славян и уничтожении «рабства и всякого унижения низших классов». Государственный строй славянских стран члены братства представляли себе в виде Славянских Соединенных Штатов.

Костомаров преклонялся перед поэзией Шевченко. По его словам, — «Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями».

Костомаров привлек в братство Тараса Шевченко, хотя Шевченко не разделял в своих политических взглядах той половинчатой либеральной теории, какую проповедывало братство. Путь Шевченко — был резкий путь революции, путь уничтожения царской и помещичьей власти. Шевченко знал, что революция будет беспощадной и кровавой. Но он примкнул к Кирилло-Мефодиевскому братству, так как вокруг него все же объединялись передовые люди Украины.

Братство не было искушено в конспирации. В его среду проник предатель — студент Попов. Он донес властям, и братство было разгромлено. Костомаров и другие видные члены братства были арестованы.

Шевченко арестовали 5 апреля 1847 года, когда он возвращался из Чернигова в Киев и переправлялся на пароме через Днепр.

Участие Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве было для правительства, как выяснилось впоследствии, только удобным поводом для ареста. Третье отделение давно подозревало о ходивших по рукам

«дерзких» стихах Шевченко и об его агитации среди крепостных.

17 апреля Шевченко был под конвоем доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Началось следствие.

На допросе в Третьем отделении на вопрос: «Какими случаями вы были доведены до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя-императора?» — Шевченко ответил: «Возвратясь в Малороссию, я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и шляхтичами, и все это делалось и делается именем государя и правительства».

Следствие закончилось быстро. Результаты его были неожиданны. Шеф жандармов Орлов доложил Николаю, что дело Кирилло-Мефодиевского братства раздуто. Приговоры были очень мягкими для тогдашнего режима. Очевидно, правительство знало цену разговорам пылких юношей о моральном перевоспитании крепостников. Костомаров получил только год тюрьмы. Почти все обвиняемые были освобождены, и только один Шевченко был приговорен к ссылке рядовым солдатом в Оренбургский батальон «с правом выслуги», то есть на неопределенное время, почти на пожизненную каторгу.

В своем докладе царю Орлов сказал прямо: «Шевченко не принадлежал к братству, но он виновен по своим собственным отдельным действиям».

Николай мстил Шевченко за ненависть поэта к царям. Николай понимал, что «мужицкая» поэзия Шевченко была во много раз более страшной угрозой для самодержавия, чем либеральная болтовня юношей из Кирилло-Мефодиевского братства.

На приговоре о ссылке Шевченко Николай написал слова, изумившие даже жандармов: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать». Это была гражданская смерть для Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот и бросили его в каторжную жизнь захолустного гарнизона.

Второго июня Шевченко выехал с жандармами в Оренбург. Громадный путь в две тысячи километров жандармы проскакали в девять дней.

Шевченко был отправлен тайно. Никто не знал, куда сослан поэт. Первое время по Петербургу ходили слухи, что он увезен на Аландские острова и там повешен.

* *
*

Из Оренбурга Шевченко отправили в Орскую крепость, в пятый линейный батальон.

Если бы Шевченко не обладал мужеством и волей, если бы он не был «одарен крепким телосложением», как было сказано даже в приговоре о ссылке, он не вынес бы десятилетней ссыльной тоски.

Тяжесть этой тоски трудно передать словами. Даже в русском языке мало этих слов, а кому, как не русскому народу, была знакома острожная кандалная тоска! С давних времен до самого начала двадцатого века, вплоть до революции, народ этот пропадал по каторгам, шагал по унылым Владимиркам и томился на вшивых этапах. Но за черными сибирскими ночами, за мраком и пылью азиатских степей этот великий замученный народ видел правду, синеющую как далекий рассвет.

И Шевченко думал в ссылке о том, чтобы «солнце правды хоть сквозь сон увидеть», чтобы «хотя бы раз еще взглянуть на народ свой».

Мертвая степь окружала Орск со всех сторон, тусклая степь, откуда изредка приходили в город толпы кочевников менять верблюжьей шерстью на водку и махорку. Кочевники называли Орск «злой крепостью».

Первые люди, которых Шевченко увидел, въезжая в Орск, были колодники с черными клеймами, выжженными на лбу.

Шевченко отвели в казарму. От нее шла застарелая кислая вонь. Ротный командир осмотрел поэта и пригрозил ему розгами, если он не будет «молодцевато

служить государю» и выполнять по всей строгости ружейные приемы. Но до конца солдатской жизни Шевченко не выучил ни одного ружейного приема.

Казарма встретила поэта равнодушно. Люди тупели годами. Казалось, их ничто не занимало, кроме еды, сна, водки и картежной игры. Только удар по лицу или порка возвращали их к сознанию человеческого достоинства. Тогда они плакали злыми слезами и все, что накипело в душе, срывали на новобранцах.

Командиры твердо следовали аракчеевскому правилу: «Сто человек забей — одного выучи». Это была, по словам Шевченко, «кабацкая шваль, прикрытая офицерским мундиром».

Каждый день, из месяца в месяц, Шевченко вставал на заре, чистил сапоги, фабрил усы и выходил на казарменный плац обучаться шагистике, ружейным приемам, колке чучел и «словесности» — самому тупоумному порождению николаевского армейского строя.

Унтера со злорадством следили за тем, чтобы поэт ничего не писал и не смел даже брать в руки карандаш.

«Стань навятяжку!» — этот крик преследовал поэта с утра до ночи. Но и ночь не давала покоя. Ночью солдаты дрались в казарме из-за украденных портянок и понюшки табаку, вели бесконечные споры, кого в какой роте пороли и кого будут пороть завтра, или разгоняли тоску — рвали всей пятерней струны балалаек. Среди старослуживых солдат крепко жили выработанные годами интересы — зависть из-за лишней манерки щей, мечты о лазарете. Когда Шевченко заболел цынгой и лег в лазарет, вся рота жестоко завидовала ему. Болезнь была затаенной мечтой каждого солдата.

Пили все — офицеры, солдаты, все население никому ненужного Орска. Пили жестоко, тупо; заливали водкой, заглушали похабными песнями и рассказами казарменную тоску.

В Оренбурге у Шевченко нашлись друзья. Одним из них был чиновник Михаил Лазаревский. Он всячески

старался облегчить участь поэта, но это было невозможно.

Единственный путь избавиться хотя бы в незначительной доле от муштровки, от скотского быта казармы, нелепый, но единственный путь — был в «угощении» офицеров. От каждого угощения водкой офицеры размякали, смотрели сквозь пальцы на отлучки Шевченко и не требовали от него лихой выправки, — на нее он был совершенно неспособен.

Во время этих отлучек Шевченко уходил в степь, за город, или на берег глинистого мутного Урала, доставал из-за голенища сапога, из-за солдатской «халявы» маленькую истрепанную тетрадку и записывал в нее стихи.

Это были короткие стихи об одиночестве, о многоцветных радугах, пьющих там, на далекой родной Украине, днепровскую воду, о жестокой бедняцкой доле. Временами все прошлое — Украина и Петербург, и милые сердцу друзья, и Академия Художеств — казалось обманом, навеянным степною сон-травой.

Но эти отлучки, короткие передышки были куплены тяжелой ценой, — Шевченко должен был пить вместе с теми, кого он угощал. Так полагалось по традиции пьяниц. Нарушение этой традиции приводило к жестоким унижениям. Это и случилось впоследствии, когда Шевченко был переведен в Новопетровское укрепление. Инженерный офицер Кампиони затащил Шевченко к себе в офицерский флигель, где пьянствовали офицеры. Они лежали в одних рубахах на кошке и тянули по очереди сивуху из полуведерной бутылки. Шевченко хотели напоить сивухой, но он вырвался и вышел. Кампиони выскочил вслед за ним с отчаянным криком, что он, рядовой Шевченко, оскорбил офицера. Шевченко был арестован. На следующий день Кампиони подал рапорт коменданту о том, что Шевченко оскорбил действием его, Кампиони, и потому надлежит начать следствие.

Было это в 1857 году, накануне освобождения Шев-

ченко, когда из Петербурга пришли известия о «помиловании». По тогдашним порядкам, дело грозило новой каторгой. Комендант посоветовал Шевченко единственный выход — извиниться перед Кампиони и уговорить его взять рапорт обратно. На карту ставилась вся дальнейшая жизнь, и Шевченко не выдержал: надел солдатский мундир и пошел к Кампиони. Он долго дождался в передней. Потом Кампиони впустил Шевченко в комнату, покуражился над ним и, наконец, согласился взять рапорт обратно за четверть сивухи.

Так, среди отчаяния, сивухи, безвестности прошел год в Орске. Друзья ничего не писали. Они не скоро узнали, куда сослан Шевченко. Первые письма он получил от Варвары Репниной и от своего украинского друга Лизогуба. Репнина прислала Тарасу книги, а Лизогуб — ящик с красками. Это был печальный подарок. Лизогуб не знал приказа Николая, запрещавшего Шевченко рисовать.

* *
* *
* *

Весной 1848 года просвещенный моряк лейтенант Бутаков приехал в Оренбургский край, чтобы произвести подробную опись берегов Аральского моря.

От Михаила Лазаревского Бутаков узнал о судьбе поэта и настоял, чтобы Шевченко был включен в состав Аральской экспедиции. Бутакову нужен был художник для зарисовки берегов Аральского моря. Шевченко был обрадован этим назначением и тотчас же выехал из Орска в Оренбург.

Экспедиция прошла на верблюдах от Оренбурга до берегов Аральского моря, построила две шхуны и вышла в плавание. Шевченко был назначен на шхуну «Константин». Он жил в одной каюте с офицерами и ссыльным солдатом, геологом Вернером.

Плаванье по Аралу было для Шевченко коротким отдыхом. Аральское море, похожее на синюю ртуть,

налитую в песчаные берега, монотонные дни, самый характер работы, связанный с промером глубин, с исследованием необитаемых островов, с долгими стоянками в тихих, безжизненных бухтах — все это позволяло хоть на время забыть казарму.

Экспедиция, закончив летние работы, зазимовала в глухом форте Кос-Арал.

Зимовка была тяжелая. Шумели холодные ветры, день и ночь трещали сухие камыши. Не было ни книг, ни писем. Почта в Кос-Арал приходила один раз в шесть месяцев.

Шевченко снова переболел цынгой. У него началась бессонница. Много лет спустя, при воспоминании о ночах в Кос-Арале, у него, по его собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в Кос-Арале сторожевую службу. Они приняли Шевченко, из-за его бороды, за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности.

Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над Голодной степью, — там лежали неведомые, дикие страны, откуда Сыр-Дарья несла мутную и мертвую воду.

Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо, чтобы не слышал капитан, пел любимые украинские песни, — томился, вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос. А пел Шевченко прекрасно. Некоторые из его современников говорят, что талантливость Шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах, а в пении старинных запорожских песен.

Трещали камыши, холодная ночь простиралась над миром, и одиночество камнем лежало на сердце. Иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат, преждевременно состарившийся от каторжной муки, плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей доле, милых друзьях,

о заброшенности и беспомощности среди окружавших его равнодушных, казенных людей. В ссылке он вспомнил о матери:

Славно, мама,
Что ты так рано спать легла,
А то б ты бога прокляла
За мой удел...

Никому не было дела до Шевченко. Каждый нес на душе свою заботу, каждый думал о покинутой семье. Один только лейтенант Бутаков был спокоен,— его спасала выдержка исследователя.

В Кос-Арале Шевченко написал за зиму много стихов и поэм. Его гнев на царя и панцину еще больше окреп, еще усилился в ссылке:

Пусть палачи царей карают.
Конец им, палачам людским!

Весной экспедиция закончила опись аральских берегов, вернулась в Оренбург и занялась разработкой полученных материалов. Бутаков сообщил начальству, что Шевченко не может быть возвращен в свою часть, пока не закончит отделки «живописных видов Арала».

Шевченко остался в Оренбурге. Образованный и гуманный офицер капитан Герн поселил его у себя и отвел под жилье и мастерскую поэта флигель в саду. Шевченко снял ненавистную солдатскую форму, ходил в штатской одежде, много писал и рисовал. Командующий краем генерал Обручев заказал ему портрет своей жены.

После отчета о блестящей работе Аральской экспедиции генерал Обручев выдал Шевченко в награду... пять рублей серебром. Начальник Отдельного Оренбургского корпуса генерал Перовский возбудил в Петербурге ходатайство о производстве Шевченко в унтер-офицеры и разрешении ему рисовать. Петербург отказал. Петербург выразил неудовольствие тем, что, несмотря на приказ Николая, Шевченко было разрешено

заниматься в экспедиции рисованием. Лейтенант Бутаков был взят под тайный надзор полиции.

В Оренбурге Шевченко сблизился с поляками, посланными за восстание 1830 года. Среди них был разжалованный в солдаты польский офицер Сераковский. Он провел несколько лет в гарнизонах на берегу Сыр-Дарьи, видел ежедневные порки солдат, и у него возникла идея,— ей он отдал всю жизнь,— добиться отмены телесных наказаний в русской армии. После смерти Николая Сераковский был помилован, уехал в Петербург, поступил офицером в главный штаб и настойчиво добивался уничтожения шпицрутенов, розог, палочных избиений, заковывания в колодки.

Когда в 1863 году началось второе польское восстание, Сераковский примкнул к нему, был схвачен и повешен по приказу Муравьева. О Сераковском писали Герцен и Чернышевский, как о мужественном и благородном человеке, проникнутом идеями социализма.

В Оренбурге жить стало немного легче. Шевченко знал, что в столице друзья хлопочут о нем, что по просьбе добряка Лазаревского генерал Обручев согласился отправить Шевченко не в Орск, а вместе с Вернером на полуостров Мангышлак, в горы Кара-тау для поисков каменного угля. Это уже сулило некоторую независимость, отодвигало все дальше «смердячую» казарму в Орске.

Но случилось предательство. Некий прапорщик Исаев донес генералу Обручеву, что Шевченко ходит в штатском платье и, вопреки царскому приказу, пишет стихи и рисует картины. Обручев это прекрасно знал,— ведь никто иной, как Шевченко, рисовал портрет его жены,— но раз донос был получен, ему, по правилам, надлежало дать ход. У Шевченко был произведен обыск. Нашли «партикулярные ношебные вещи», тетради со стихами, альбомы с рисунками и книги Шекспира, Пушкина и Лермонтова.

Полетели срочные донесения в Петербург. Петер-

бург предписал рядового Шевченко держать под арестом и внушить ему, чтобы в дальнейшем он не осмеливался нарушать приказ Николая. Но рвение местных военных властей обогнало Петербург. Шевченко был посажен в тюрьму, но уже не за рисование и не за стихи, а за то, что появлялся на улицах в штатской одежде.

Больше полугода он просидел в тюрьмах Оренбурга, Орска и Уральска и был, наконец, поздней осенью 1850 года выслан в Новопетровское укрепление, на полуостров Мангышлак, на восточный бесплодный берег Каспийского моря. Это было место, носившее у видавших виды николаевских солдат название «могилы» и «вонючего пекла».

Ссылка на Мангышлак означала то же, что смерть. О человеке, загнанном в эту пустыню, начисто забывали. Он существовал только в рыжих от времени списках. Списки эти валялись в рассохшихся шкафах захолустных военных канцелярий. Пьяные писаря крутили из них цыгарки, и в сизом чаду махорки исчезала порой самая память о сосланном. Если Петербург запрашивал о нем, то проходили месяцы, пока бумажные следы ссыльного отыскивались по канцеляриям. А без бумажных следов в те годы человек не существовал в природе.

* *
*

Орск и Арал были только преддверием ссылки. Настоящая каторга началась на Мангышлаке.

Ротный Потапов — багроволицый, неряшливый, беспрерывно отрывивающий сивухой — придумал простой способ, чтобы отравить существование Шевченко. Он не кричал, не сажал поэта в «курятник» — на гауптвахту, а назойливо придирался к мелочам.

К Шевченко был приставлен дядька-солдат. Он следил, чтобы у Шевченко не было ни перьев, ни карандашей, ни чернил, ни бумаги. Каждый раз, когда Шевченко выходил из казармы, его обыскивали, заставляли сни-

мать сапоги. Начальству было известно, что в Орске поэт прятал стихи в голенища сапог.

Мангышлак — глинистый, перегоревший от солнца полуостров, окруженный мелководным морем. На востоке, за солончаками, поднимаются горы Кара-тау. Они похожи на сухой человеческий мозг — громадные купола из песчаника, изрытые трещинами.

На этом клочке земли было выстроено Новопетровское укрепление — самое скучное место во всей тогдашней Российской империи.

Изредка приходила из Гурьева парусная лодка с почтой и еще реже — колесный пароход из Астрахани. Два-три раза за несколько лет заходил старый маленький крейсер, и морские офицеры — «невежды и брехуны», по словам Шевченко — забавлялись тем, что рассказывали одичавшим жителям форта всяческие страхи, — на-днях, мол, приедет корпусный командир, отдаст под суд за пьянство офицеров и перепорет для порядка всех ссыльных солдат.

Солдаты в Новопетровском были другие, чем в Орске. В Орске было все же много старослуживых солдат, взятых в армию по рекрутчине на двадцать пять лет. Здесь же было много юношей, отправленных в армию по воле «родителей» за «дурной нрав» (эта мера широко применялась в помещичьем быту), и бывших офицеров, разжалованных в солдаты за уголовщину — «загибание» углов в картежной игре, воровство, продажу казенного имущества.

Жалованье офицерам и солдатам привозил пароход из Астрахани. Его ждали с нетерпением целыми месяцами, только за тем, чтобы, получив мешки с деньгами и роздав деньги по рукам, начать «гомерическое» пьянство.

Деньги целиком отсылались маркитанту или «спиртомеру» — целовальнику, винной лавки Зигмонтовскому. Денщики притаскивали бутылки с водкой. В офицерские флигеля вызывали из казарм песенников, и начи-

налось пьянство. Длилось оно несколько дней и кончалось обыкновенно кровавой дракой.

Но в пьянстве соблюдался известный порядок. Солдатам жалованье выдавали не раньше, чем кончали пить офицеры. В этом сказывалась мудрость начальства. Солдаты пили во вторую очередь, когда офицеры уже успевали проспаться, и таким образом форт не оставался покинутым на произвол сплошной пьяной толпы.

Пили и зимой и летом — в удушающей жаре, в испарине, пили до белых чертей.

Ссылные солдаты могли бы легко бежать из укрепления во время офицерских попоек, но бежать было некуда. Вокруг простиралась смертоносная пустыня, такая голая пустыня, что «не на чем было даже повеситься», как горько шутил Шевченко.

Население Новопетровского состояло из солдат, а это было «самое бедное, самое жалкое сословие в нашем отечестве», из офицеров — подонков армии, и немногих гражданских личностей — прощальг и авантюристов.

Шевченко сдружился только с одним солдатом — служителем при лазарете, Андреем Обеременко. Они были земляки и, сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели вполголоса украинские песни.

В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмонтовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшийся своей феерической жизнью. Жизнь эта сплошь состояла из «стечения удивительных обстоятельств». Зигмонтовский был и актером и якобы прогремел в роли Дмитрия Донского. Под видом морского лейтенанта он плывал с адмиралом Лазаревым к Южному полюсу, а будучи заседателем Одесского земского суда, примкнул к декабристам, за что и сидел в одиночном заключении в крепости Измаиле. Все, на что бы ни бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик, вызывало у него жажду вранья. Однажды, угощая Шевченко селедкой, он обильно поливал ее прованским

маслом и при этом рассказывал, что во время плавания с адмиралом Лазаревым ему, Зигмонтовскому, удалось досконально узнать, откуда берется это самое прованское масло. Корабли Лазарева остановились около острова Прованс, лежащего между Италией и «городом Сингапуро». На этом острове росли громадные масличные деревья. Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылки хлынуло чистейшее прованское масло.

Но среди обитателей укрепления даже Зигмонтовский и его бесцветная старушка-жена казались прекрасными людьми, и Шевченко часто заходил к ним почитать газету (Зигмонтовский получал «Петербургские ведомости») и послушать безобидное вранье старика.

Прошло три года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фрунтовик капитан Косарев. Он показался после Потапова «ангелом доброты». Комендантом укрепления был назначен полковник Усков — человек мягкий, увлекавшийся впервые появившейся в то время фотографией. Наконец, начальником края вместо Обручева был назначен генерал Перовский — взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный человек, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским.

Под влиянием друзей Шевченко, Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, от требований выправки. Перовский, будучи в Петербурге, просил шефа жандармов Дубельта разрешить, наконец, Шевченко рисовать, но Дубельт отказал.

Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргиз. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена, значит — позволена, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно.

Жизнь скрашивалась письмами — снова начали писать друзья, посещениями семьи Ускова и редкими наездами в укрепление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. Два раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Бэр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска.

Бэр посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президенту Академии Художеств, известному скульптору и медальеру графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, лишь бы не обидеть Бэра.

Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска.

По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен укрепления. Сонные волны набегали на берега. Перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как на родине, сверкало над головой, и от этого было еще горше, еще труднее на сердце.

Шевченко облысел, глаза его сузились и потеряли блеск, походка стала тяжелой и медленной. Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блестящие росой, цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение, и поэт с горечью признавался:

Сердце старое черствеет,
И очи не видят
Ни хатенки этой белой
Под синью небесной,
Ни долины приветливой
У темного леса...

В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость подымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать «коронованный фельдфебель».

В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть — Николай умер. Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшая кости всей стране.

Говорили, что Николай отравился, не выдержал исхода Крымской кампании, и огромный его труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок.

Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии со стороны нового царя — Александра.

Александрю второму были поданы списки ссыльных, подлежащих освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком сильно оскорбил мою бабуку и моего отца, чтобы я мог его простить».

Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко.

* *
* *
* *

Одиноким, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускова полюбили поэта и звали его Горичем, сокращая трудное отчество.

Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески,

с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытая. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой.

Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье.

О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне. Но ка-торга — это «безграничное вместилище безграничных мерзостей» — оказалась сильнее молодой женщины. На глазах у поэта она притихла. Сначала она грустила и плакала, а через два года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломберным столом, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них папилютки.

Шевченко перенес двойной удар — неразделенной любви и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их.

Во время припадков тоски он уходил в степь, где разбили свои кибитки киргизы. Кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами, бродившего по пустыне. Шевченко любил киргиз за их чистосердечие, живость, за детское любопытство.

Опять, как на Арале, началась бессонница. Шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и ходил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его как художника и поэта.

Но на следующий день он записывал в своем дневнике: «Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы, а на одной из скал блестели белые стены укрепления. Я невольно залюбовался своей семилетней тюрьмой». Такую запись, где были скупые и точные краски, мог сделать только настоящий художник. Нет, глаз еще был зорек, и сердце негодовало на людскую

неправду, — значит — каторга еще не замучила поэта.

Шевченко не знал, что Федор Толстой обивал в это время в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал освобождения поэта. Толстой был человеком широкого сердца и душевной мягкости. Ему отказывали, но он упрямо возобновлял просьбы. Хлопотал он, хлопотала его жена Настасья Ивановна Толстая. Они заинтересовали судьбой поэта всех петербургских литераторов. Они ездили к великим княгиням и министрам. Они доказывали, что дальнейшее заточение Шевченко — бессмысленная жестокость. Им помогали Сераковский, поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы.

И вот, наконец, свершилось: второго мая 1857 года Шевченко получил письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского. Лазаревский поздравлял Шевченко со свободой.

Поэт, не дочитав письма, заплакал и долго не мог унять своих слез. Потом он прочел, что обязан своим освобождением графу Федору Толстому, но больше всего — его жене, Настасье Ивановне Толстой.

Шевченко написал письмо Толстой, похожее на крик благодарности, на молитву, — письмо, полное громадного волнения, почти экстаза.

«Сестра моя... — написал он и долго не мог продолжать: слезы капали на бумагу, не давали Шевченко дышать. — Сестра моя, богу милая, никогда мною не виденная! Чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обняла, восхитила мою бедную, тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное сердце».

Второе письмо он написал Федору Толстому и впервые подписал его не словом «рядовой», а словом «художник» Шевченко.

Шевченко ликовал, а приказ об освобождении медленно переползал из одной канцелярии в другую, писаря рылись в пыльных списках, пакеты дожидались оказии, и путь в три тысячи верст приказ шел почти

три месяца. Поэт был обречен на ежедневное, изматывающее душу ожидание. Без приказа Усков не имел права освободить Шевченко. Он утешал поэта, а в ответ на гневные жалобы вздыхал и говорил одно только слово: «Форма!» Да, это была бесчеловечная «форма», но почему же, когда надо было сослать Шевченко, тот же длинный путь жандармы проделали всего за девять дней?

После письма Лазаревского Усков освободил Шевченко из казармы и разрешил ему жить в беседке, в комендантском саду. Сад был насажен с громадным трудом. Для него привозили на шхунах чернозем из Астрахани.

Шевченко любил этот сад, ухаживал за ним, и в беседке, в этом саду, дожидаясь приказа об освобождении, написал свои повести на русском языке и начал дневник. По своей искренности этот дневник является одним из исключительнейших явлений нашей литературы.

Начав писать, Шевченко успокоился. Ему казалось, что каторга его еще не сломала, что он все такой же, каким был десять лет назад.

О том, какой скудной, какой нищенской была солдатская жизнь Шевченко, можно судить по той неудержимой радости, с какой он пишет в дневнике, что купил себе, незадолго до отъезда, медный чайник. Это было уж богатство. Он ставил чайник на стол в беседке, писал, потом наливал себе чай в кружку, любовался чайником и гордился им, как живым существом.

Чтобы скрасить ожидание, Шевченко решил прочитывать по одной странице в день биографию Гоголя. Но биография была прочитана, а бумаги из Оренбурга все не было. Тогда Шевченко начал читать так же медленно книгу Кулиша «Записки о Южной Руси». И эта книга была прочитана до конца и выучена почти наизусть, а приказа все не было.

Шевченко много думал о будущем. Он мечтал после возвращения из ссылки заняться гравюрой. Он считал,

то живопись существует для народа, а единственный путь показать ему величайшие произведения живописи — это гравюра.

«Быть хорошим гравером,— писал он в своем дневнике,— значит, быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит, быть полезным людям. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера! Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галлереях без твоего чудотворного резца».

Дни проходили в ожидании. Шли теплые, тихие дожди. Шевченко не спал по ночам, лежа в своей беседке. Он все думал о будущем и слушал, как застенчиво шуршит дождь — редкий гость пустыни — по скудной зелени, по крыше беседки. Потом Шевченко вставал, зажигал свечу, кипятил воду в чайнике и писал до утра свой дневник.

Наконец, приказ об освобождении пришел. По правилам, Шевченко должен был выехать сначала в Оренбург, а уже оттуда, оформив свою «отставку из армии», возвращаться в Россию. Но комендант Усков на свой страх и риск выдал поэту пропуск от Новопетровского укрепления до Петербурга, без заезда в Оренбург.

Второго августа 1857 года, после десятилетней ссылки, Шевченко сел в парусную рыбацью лодку. Она отплыла в Астрахань. Шевченко был так взволнован, так торопился, что плохо помнил, как уехал, с кем прощался, кто провожал его на пристань.

Когда лодка отошла, он оглянулся на мрачные берега, где темнели батареи, где чей-то женский платок еще белел, еще трепетал в воздухе. Шевченко снял шапку. Любовь ушла, забылась. Каспийское море гудело, накатывало на берега тяжелую желтоватую воду. Над пустыней подымалась тихая мгла, как дым далекого пожара. Ветер заливал брызгами лицо. Это была свобода. Ветер теребил рваную солдатскую шинель, как будто

хотел сбросить с поседевшего Тараса последнюю память о ссылке.

Тарас задумался. Значит, не сбылись его слова, а они когда-то считал пророческими:

В неволе вырос меж чужими
И, не оплаканный своими,
В неволе, плачущий, умру.

* *
*

В пропыленной Астрахани Шевченко прожил несколько дней, дожидаясь парохода на Нижний-Новгород. Здесь он встретил своих земляков-киевлян. Они были потрясены видом поэта. Изможденный, в изорванном солдатском мундире, он был больше похож на беглого, чем на освобожденного из ссылки.

Новые друзья одели Шевченко и устроили в его честь шумную вечеринку.

Только в Астрахани Шевченко понял, как измучила его ссылная казарма: простое человеческое отношение к себе он воспринимал, как счастье,— он отвык от него на протяжении последних десяти лет.

Астрахань показалась Шевченко «огромной кучей мусора, которую венчают зубчатые белые стены кремля и стройный великолепный собор XVII века». Шевченко был рад этому впечатлению от Астрахани. После семилетнего прозябания в пустыне он думал, что Астрахань должна была произвести на него громадное впечатление. Значит, он еще не потерял взыскательности художника. «Стало быть,— пишет Шевченко,— я еще не совсем одичал».

Он был тронут до слез, когда в грязном астраханском трактире завели «машину» и она хрипло заиграла увертюру из «Роберта-Дьявола». Семь лет Шевченко слышал только треск барабанов и раздирающие сердце звуки военного горна.

Собор так заинтересовал Шевченко, что он хотел зарисовать его, но не хватило времени. Он всех распрашивал об этом соборе, об его строителе, но узнал

только, что строил его «простой мужичок». Это было правдой. Это прекрасное и величественное здание, видное за тридцать километров, было построено крепостным Дорофеем Мякишевым в начале XVIII века. За постройку этого здания,— оно могло соперничать с лучшими зданиями знаменитейших зодчих,— Мякишев получил всего сто рублей серебром. Постройка длилась двенадцать лет.

В ссылке Шевченко ничего не читал. В Астрахани он тотчас пошел в библиотеку. Старик-библиотекарь с гренадерскими усами, одетый в сюртук с красным солдатским воротом, очень дивился любопытству приезжего и рассказал Шевченко, что он был всего пятнадцатым посетителем библиотеки за весь последний год.

Шевченко увидел на полках книжки «Русского вестника» и тут же, стоя около полок, начал читать их,— там были напечатаны новые вещи Гоголя, Аксакова и Соловьева.

В Астрахани жил рыбопромышленник Сапожников, учившийся живописи у Шевченко в Петербурге, в 1842 году. Он узнал о приезде поэта и предложил ему место на пароходе «Князь Пожарский», нанятом Сапожниковым для переезда со своей семьей в Нижний-Новгород. Поэт с радостью согласился.

Плавание по Волге было для Шевченко праздником. Пароход шел от Астрахани до Нижнего целый месяц. Шевченко все время бегал по палубе, смотрел на берега, перезнакомился со всем населением парохода, сдружился с капитаном Кишкиным.

У Кишкина была «секретная тетрадь» с запрещенными стихами Рылеева, Беранже и Барбье. По вечерам собирались в каюте, и Кишкин читал вслух эти стихи. Особенно понравились Шевченко гневные стихи Барбье «Собачий пир»:

Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудию,
В дымящейся руке.

Иногда в каюту к Шевченко приходил бывший крепостной, пароходный буфетчик Панов, и играл для поэта на скрипке лучшие вещи Шопена. Панов был необыкновенный скрипач, «крепостной Паганини». Игра его радовала и печалила Шевченко. Поэт радовался неиссякаемой талантливости народа и печалился о его судьбе, — Паганини должен был с салфеткой подмышкой с утра до ночи подавать всяческие растегаи, солянки и водку пассажирам и владельцам парохода.

На пароходе Шевченко впервые прочел «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. Они вызвали у него восторженное восклицание: «О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какую радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих!»

Книга Салтыкова-Щедрина была для Шевченко первым громким голосом революционной демократии, нарождавшейся в России. Шевченко был взволнован, — теперь он не чувствовал одиночества. Появилось новое, могучее течение общественной мысли — течение искреннее, смелое, подававшее голос «за бедную грязную чернь». Новые люди были сродни Шевченко, — он уже знал это по тем отдельным словам, рассказам, намекам, которые доходили до него во время волжского плавания.

Шевченко все реже вспоминал Костомарова, Кулиша, либеральных дворянских юношей из Кирилло-Мефодиевского братства. Голоса Герцена, Чернышевского заглушали наивную болтовню «братчиков», постепенно превращавшихся в реакционеров, в преданных царских чиновников, в казенных профессоров.

Стояла осень. Кончался сентябрь. Дубовые леса по берегам Волги уже заржавели от первых утренних морозов, но на полянах в сырой траве еще попадались последние лесные цветы. Каждый раз, когда пароход останавливался у глухих пристаней, Шевченко уходил в леса и возвращался румяный, мокрый от росы, с гро-

мадным букетом цветов, которые тут же раздаривал пассажирам.

Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в Нижнем-Новгороде Шевченко узнал еще об одной подлости правительства. Нижегородский губернатор был извещен, что как только в городе появится Тарас Шевченко, то его, упомянутого бывшего рядового Шевченко, надлежит препроводить на жительство в Оренбург, впредь до особого разрешения выехать из Оренбурга на родину.

Кроме того, в предписании губернатору было сказано, что Шевченко запрещен въезд в обе столицы — Петербург и Москву.

* *
*

В Нижнем-Новгороде Шевченко сказался больным. Местные власти сочли это заявление вполне достаточным и разрешили ему оставаться в городе до выздоровления.

Мягкость местных властей объяснялась тем, что нижегородским губернатором был причастный к декабристам, отсидевший ссылку в Верхнеудинске, полковник Александр Муравьев.

Нужно было выиграть время, чтобы Федор Толстой и петербургские друзья могли успеть выхлопотать поэту разрешение жить в Петербурге. Шевченко стремился в Петербург, к друзьям-разночинцам, туда, где билась новая революционная мысль, наконец — в Академию Художеств, чтобы изучить граверное мастерство.

Всю зиму поэт прожил в Нижнем-Новгороде. Местное общество встретило его ласково. Он перезнакомился со множеством «любопытных личностей». Нижний-Новгород был не только городом купцов, разбогатевших около Волги, но и городом многих чудаков и многих просвещенных людей.

Шевченко часто бывал у Якоби — любезного и едкого либерала, аристократа, презиравшего «фельдфебелей на

троне» — Николая и Александра. Якоби снабжал Шевченко первыми брошюрами Герцена, вышедшими за границей. Когда Якоби показал Шевченко номер герценовского «Колокола», поэт поцеловал страницы газеты. Герцен был для Шевченко «апостолом свободы».

Шевченко дружил с известным собирателем народных песен — тихим, застенчивым библиофилом Варенцовым.

Он слушал игру на рояле местного виртуоза Татаринова, великолепно исполнявшего Мейербера.

В Нижнем-Новгороде был очень хороший театр, и Шевченко был постоянным его посетителем. В театре он познакомился с чудачком Улыбышевым, дряхлым старцем, знатоком музыки, написавшим биографии Бетховена и Моцарта.

И Шевченко, и Улыбышев приходили в театр не столько посмотреть пьесы, сколько послушать музыку, — в старые времена в театре перед спектаклем и в антрактах играли оркестры. Шла какая-нибудь кровавая драма или балаганный водевиль «Коломенский нахлебник» («дрянь с подробностями», по выражению Шевченко), а в антракте зрители слушали прекрасную увертюру из моцартовского «Дон-Жуана». Прекрасную, конечно, лишь в том случае, если оркестранты не были мертвецки пьяны и если от духоты не гасли к третьему действию все лампы и спектакль на этом не прекращался.

В Нижнем-Новгороде в то время жил Даль. Тарас его побаивался за холодный рыбий характер и за увлечение теософией.

Шевченко предпочитал людей простых, общительных, разговорчивых, — он сам очень любил поговорить. Говорить он мог с одинаковой охотой обо всем — о Брюллове и ценах на муку, об отвратительных дорогах в России и мерзости военного сословия, о нижегородском кремле и «неудобозабываемом унтере» Николае первом, о том, как делать настоящую вишневку, о картинах Цампиери.

В доме Якоби Шевченко впервые встретился с декабристом. Это был Анненков. Шевченко отнесся к нему с величайшей почтительностью. Анненков был седой, величественный старик — настоящий «благовеститель свободы».

Преклонение Шевченко перед декабристами было безграничным. Он разыскал в Новгороде дочь декабриста Пущина, учившуюся в тамошнем институте, нарисовал ее портрет и всячески ее баловал.

Декабристам он посвятил взволнованные строки:

А ты, всевидящее око!
Знать, проглядел твой взор высокий,
Как сотнями в оковах гнали
В Сибирь невольников святых?
Как истязали, распинали
И вешали?.. А ты не знало?
Ты видело мученья их
И не ослепло?.. Око, око!
Не очень смотришь ты глубоко.
Ты спишь в киоте, а цари —
Да чур им, тем царям прожженным!
Пусть тешатся кандалным звоном.
Я думой полечу в Сибирь
И в Забайкалье; гляну в горы,
В вертепы темные и норы
Без дна, глубокие, и вас,
Поборников священной воли,
Из тьмы, и смрада, и неволи,
Царям и людям напоказ,
Вперед вас выведу, суровых,
Рядами длинными, в оковах.

В Нижнем-Новгороде Шевченко много работал. Он написал поэму «Неофиты» и несколько стихотворений — свои знаменитые «Долю», «Музу», «Славу», и привел в порядок все стихи, написанные в ссылке, всю свою «невольницкую» поэзию. Работал он и над прозой — над «Матросом» и другими повестями.

Несмотря на снежную и очень морозную зиму, Шевченко много рисовал на воздухе. Он срисовывал нов-

городские церкви и башни кремля. Тяготение к старой суровой архитектуре было попрежнему его «слабостью».

Шла деятельная переписка с друзьями. Один из этих друзей — знаменитый актер Щепкин — приехал на несколько дней в Нижний из Москвы, чтобы повидаться с Шевченко. Для Шевченко это было «торжество из торжеств». Сдружила Шевченко со Щепкиным общая судьба — оба были бывшими крепостными и украинцами.

В марте 1858 года пришло из Петербурга известие о том, что Шевченко разрешено жить в столице.

Восьмого марта Шевченко выехал в Москву.

В Москве он несколько дней прожил у Щепкина, виделся с Аксаковым, с декабристом Волконским, с Варварой Репниной. Она не узнала его — так осунулся и постарел Шевченко. По ее словам, он был «совсем потухший». Встреча не дала радости и поэту.

Из Москвы Шевченко выехал по железной дороге в Петербург.

* *
*

Петербургские друзья встретили Шевченко восторженно. Федор Толстой и Лазаревский приехали на вокзал встречать поэта. Шевченко остановился у Лазаревского.

На следующий день Федор Толстой привез его к себе. Когда взволнованный Шевченко вошел в комнату, графиня Настасья Ивановна бросилась к нему. Шевченко протянул к ней руки, вскрикнул: «Серденько мое!» — обнял ее и заплакал.

Шевченко хотел очень много сказать этой женщине, спасшей его от неволи. Он думал об этой встрече, ждал ее с нетерпением, но сказать ничего не смог — спазмы душили его. Выпив вместе с Толстыми бутылку шампанского, он торопливо ушел, отложив разговоры до следующей встречи.

Петербург очень радостно встретил поэта. В нем видели мученика, его приветствовали, как страшную жертву николаевского царствования.

Каждый день его приглашали в дома тогдашних просвещенных людей. Он познакомился со Львом Толстым, Меем, Даргомыжским, Полонским, Щербиной, Достоевским, Курочкиным. На вечере, где Шевченко выступал вместе с Достоевским, Майковым и Писемским, публика устроила ему восторженную овацию. Шевченко от волнения сделалось дурно.

С утра до вечера комната Шевченко была полна друзьями. Они тащили его в театр, в цирк, в Эрмитаж, на художественные выставки, на званые обеды, на дружеские пирушки. Эта бурная радость оглушала и утомляла Шевченко. Иногда он прятался от друзей и одиноко бродил по Петербургу, возвращался на старые места, вспоминал молодость.

Ссылка кончилась. Петербург был перед ним. Свобода казалась неограниченной. Но к желанной цели Шевченко пришел физически усталым. На Волге, в Нижнем, в Москве он еще крепился. Только в Петербурге он понял, что сделали с ним ссылка и казарма. Доктора признали его организм «преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным».

Физическая разбитость особенно удручала Шевченко потому, что в Петербурге он встретился и сошелся с великим представителем революционной русской демократии — Чернышевским. Шевченко вошел в круг передовых людей, группировавшихся около журнала «Современник». Всем существом, всеми помыслами Шевченко был с этими людьми. Это было естественно, — ведь, по словам Добролюбова, «весь круг дум и сочувствий Шевченко находился в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни».

Шевченко впервые встретился с Чернышевским на «вторниках» у Костомарова. Чернышевский поразил Шевченко ясным сознанием цели, умом, волей. Косто-

маров опасался влияния Чернышевского на Шевченко. Костомарову был враждебен «мужицкий демократизм» Чернышевского. Костомаров хотел сохранить Шевченко для себя — для украинских либеральных националистов. Но Тарас резко и определенно стал на сторону «мужицких демократов» — его подлинных братьев по духу.

Охлаждение между Шевченко и Костомаровым было неизбежным. Костомаров был далеко не прежним либералом. Многим стало известно, что во время ссылки в Саратове он ведал секретным столом при губернаторе и участвовал в обвинении саратовских евреев в ритуальном убийстве. А Шевченко в это время выступил вместе с Чернышевским с резким протестом против антисемитских статей одного петербургского журнала.

Шевченко начал изучать гравюру. Лучшие граверы Иордан и Уткин показали ему приемы этого сложного, тонкого мастерства. Шевченко с необыкновенным, почти подвижническим упорством погрузился в работу. Лучшие гравюры Шевченко сделал с картин Рембрандта. В 1860 году он получил звание академика гравюры и офорта.

В свободные минуты он писал стихи. В этих последних его стихах много горечи, много неистовой ненависти к общественному строю России, к ее «псарям-императорам», много насмешек над богом с его «свинцовыми ушами», предчувствия близкого конца:

Так не пора ли понемногу
С тобою, спутницей убогой,
Нам вирши слабые бросать
И помаленьку собирать
Телеги в дальнюю дорожку?

Шевченко жил в маленькой квартире при Академии. Старый солдат-дядька приносил ему еду, чистил платье, изредка пытался прибрать в комнате, но Шевченко каждый раз его выгонял. Он не позволял никому при-

касаться к своим гравировальным доскам, к резцам, рукописям, к бутылкам с кислотами для протравливания гравюр. На столе всегда лежало монисто, цветные украинские бусы, а над постелью на стене висели пучки сухих украинских трав — барвинка, руты, полыни.

Но жизнь порадовала Шевченко еще одной редкой и верной дружбой. В то время в Петербурге играл на сцене великий негритянский трагик Айра Ольридж. Он первым показал русским подлинного Шекспира. Это был актер гениальный. Он разрушал все традиции затхлого ложноклассического театра. Он даже играл спиной к публике, что тогда считалось совершенно невозможным для актера. Каждый его жест потрясал, каждая фраза была ясна, несмотря на то, что Ольридж играл на английском языке.

Шевченко впервые увидел Ольриджа в «Отелло». Поэт ушел со спектакля в глубоком смятении.

Через несколько дней Шевченко познакомился с Ольриджем у Толстых. Беседа шла при помощи переводников — детей Толстого. Ольридж рассказал Шевченко свою жизнь. Он был негром из Судана. Миссионер привез его из Африки в Лондон, где он, сын племени рабов, стал величайшим трагическим актером. Много общего было в судьбах Шевченко и Ольриджа, и это общее сдружило их.

Они много времени проводили вместе. Ольридж один раз был у Шевченко. В этот день Шевченко впервые разрешил старому солдату, прибрать комнату, и тот со злорадством выкинул во двор сухую траву и рассыпанное монисто. Шевченко промолчал.

Шевченко написал портрет Ольриджа. Ольридж пел для Шевченко негритянские песни.

Когда Ольридж уезжал, его провожал весь театральный Петербург. С пути Ольридж прислал письмо русским актерам. «Вы изъявили в моем лице, — писал Ольридж, — сочувствие всему моему угнетенному племени».

Приближалась старость. Появилось желание уехать на родину, на Украину, поселиться в чистой маленькой хате, в покое, читать, писать стихи и гравировать прекрасные произведения живописи.

Шевченко рвался на Украину, хотел переиздать «Кобзаря», но ни того, ни другого власти ему не разрешали.

С большим трудом было все же добыто разрешение поехать на родину. Летом 1859 года Шевченко приехал в родное село Кирилловку, где жили его брат и сестра.

Сестра не сразу его узнала — не узнала своего Тараса в измученном, старом, тяжело дышащем человеке. Жить в Кирилловке было мучительно. Шевченко был один «вольный» среди всей своей крепостной семьи.

... в благодатном том селе,
Земли чернее по земле
Блуждают люди; оголились
Сады зеленые; в пыли
Погнили хаты, покосились;
Пруды бурьяном поросли.
Село как будто погорело,
Как будто люди одурели,—
Без слов на панцину идут
И за собой детей ведут.

Тарас уехал в местечко Корсунь, к родственнику Варфоломею Шевченко, и вместе с ним начал поиски клочка земли.

Землю нашли под Каневом, на высоком крутояре над Днепром, где Шевченко был потом похоронен.

Во время переговоров о покупке земли, — как водится, неторопливых и хитрых переговоров за бутылкой наливки, — присутствовал какой-то захудалый шляхтич Козловский. Шевченко уже дошел до той степени раздражения против помещиков и шляхтичей, что не мог спокойно разговаривать с людьми этого сословия. Он сказал Козловскому несколько колкостей, потом разговор зашел о «божественных вещах», и Шевченко весьма вольно высказался о христианских святых.

Козловский донес. Через шесть дней Шевченко был арестован, просидел в тюрьме в Черкассах и Киеве, был допрошен и выпущен.

Он прожил около месяца в Киеве и возвратился в Петербург. Он увез с собой новую обиду и память о запуганной, опутанной доносчиками стране.

В Петербург Шевченко приехал уже больным.

Здесь он хлопотал об освобождении от крепостной зависимости своих родных. Хлопоты эти были связаны с утомительным хождением по канцеляриям, переговорами со взяточниками. С Шевченко все чаще случались припадки неистового гнева. Он легко раздражался, плакал, подолгу никого к себе не пускал. Усталость усиливалась. Врачи исследовали Шевченко и нашли у него водянку. Ему запретили выходить из дому.

Он засел за гравюру, торопился работать, как будто сам назначил себе сроки приближавшейся смерти.

19 февраля 1860 года к Шевченко зашел его знакомый — Черненко. В этот день ждали опубликования манифеста об освобождении крестьян.

— Ну, что, что? Есть воля? Есть манифест? — судорожно спросил Шевченко.

— Еще нет, — ответил Черненко.

Шевченко тяжело выругался, закрыл лицо руками, упал на кровать и заплакал.

Болезнь усиливалась. Шевченко очень страдал. Друзья навещали его, но он стеснялся этих посещений. Большую часть дня он сидел один в своей неудобной холостяцкой комнате.

Старый солдат не понимал, что Шевченко болен, и все ходил вокруг, ворчал на беспорядок, на то, что лампа горит по ночам и со стен, с пучков сухих украинских трав, сыплется мусор.

25 февраля был день его рождения. Квартиру поэта посетило много знакомых. Когда все ушли и остался один Лазаревский, Шевченко сказал:

— Да, если бы на родину, на Украину,— там бы я, может быть, выздоровел.

Ночь прошла без сна. Мокрый снег шел над Петербургом. В этом снегу, среди холода невских льдов, среди каменных уснувших громад, в душной комнате, пропитанной запахом кислот и лекарств, в комнате, как бы отрезанной от мира ночным мраком, сидел и задыхался одинокий, отекавший от водянки, плачущий старик с загубленной жизнью. Старик, которому едва минуло сорок шесть лет.

Двадцать шестого февраля утром Шевченко позвал старого солдата, приказал прибрать комнату и пошел в свою мастерскую. В дверях он остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог.

А через несколько часов он уже лежал в комнате на столе, покрытый простыней, спокойный и величавый. Тонкие свечи трещали в изголовьи и озаряли измученное лицо ссыльного солдата и великого народного певца.

Черное солнце поднялось в тот день над милой его Украиной.

Редактор *М. Корнев*. Технический редактор *С. Симонов*. Корректор *М. Зевин*.
Сдано в набор 27/II 1939 г. Подписано к печати 1/II 1939 г. Изд. № 26
Инд. X-20. Ш-36. Зак. тип. № 49. Формат 70 × 94^{1/32} д. 2 печ. л.
2,84 авт. л., 3,18 уч.-авт. л. Тираж 250.000. Уполн. Главл. А-4927. Текст отпе-
чатан на бумаге Камского бумкомбината.

Цена 25 коп.

3-я ф-ка книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкинг». Москва,
Краснопролетарская, 16.